

Иван Сергеевич Тургенев

**Отрывки из воспоминаний –
своих и чужих**



Иван Сергеевич Тургенев

Отрывки из воспоминаний

– своих и чужих

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22120432
Отрывки из воспоминаний – своих и чужих: 1881*

Аннотация

«...Верстах в сорока от нашего села проживал много лет тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвардии сержант и довольно богатый помещик, Алексей Сергемч Телегин – в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда не выезжал, а потому и не посещал нас; но меня, раза два в год, посылали к нему на поклон – сперва с гувернером, а потом одного. Алексей Сергеич принимал меня всегда очень радушно – и я гащивал у него дня по три, но четыре. Зазнал я его уже стариком; в первый мой приезд мне, помнится, было лет двенадцать; а ему уже за семьдесят лет перевалило. Родился он еще при императрице Елизавете – в последний год ее царствования. Он жил один с своей женой, Маланьей Павловной; она была лет на десять моложе его. Двух дочерей он с ней прижил; но они уже давно вышли замуж и редко посещали Суходол; между ними и их родителями черная кошка пробежала, и Алексей Сергеич почти никогда не упоминал о них...»

Содержание

I. Старые портреты

4

II. Отчаянный

36

Иван Сергеевич Тургенев

Отрывки из воспоминаний – своих и чужих

I. Старые портреты

...Верстах в сорока от нашего села проживал много лет тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвардии сержант и довольно богатый помещик, Алексей Сергемч Телегин – в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда не выезжал, а потому и не посещал нас; но меня, раза два в год, посылали к нему на поклон – сперва с гувернером, а потом одного. Алексей Сергеич принимал меня всегда очень радушно – и я гащивал у него дня по три, но четыре. Зазнал я его уже стариком; в первый мой приезд мне, помнится, было лет двенадцать; а ему уже за семьдесят лет перевалило. Родился он еще при императрице Елизавете – в последний год ее царствования. Он жил один с своей женой, Маланьей Павловной; она была лет на десять моложе его. Двух дочерей он с ней прижил; но они уже давно вышли замуж и редко посещали Суходол; между ними и их родителями черная

кошка пробежала, и Алексей Сергеич почти никогда не упоминал о них.

Вижу, как теперь, этот старинный, уж точно дворянский, степной дом. Одноэтажный, с громадным мезонином, построенный в начале нынешнего столетия из удивительно толстых сосновых бревен – такие бревна привозились тогда из-за жиздринских боров, их теперь и в помине нет! – он был очень обширен и вмещал множество комнат, довольно, правда, низких и темных: окна в стенах были прорублены маленькие, теплоты ради. Как водится (по-настоящему следует сказать: как водилось), службы, дворовые избы окружали господский дом со всех сторон – и сад к нему примыкал небольшой, но с хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и бессемянными грушами; на десять верст кругом тянулась плоская, жирно-черноземная степь. Никакого высокого предмета для глаза: ни дерева, ни даже колокольни; где-где разве торчит ветряная мельница с прорезами в крыльях; уж точно: Суходол! Внутри дома комнаты были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; несколько необычным являлся стоявший на окне залы верстовой столбик со следующими надписями: «Если ты 68 раз пройдешь вокруг сей залы – то сделаешь версту; если ты 87 раз пройдешь от крайнего угла гостиной до правого угла биллиарда – то сделаешь версту» – и т. п. Но пуще всего поражало в первый раз приехавшего гостя великое количество картин, развешанных по стенам, большей частью работы так называе-

мых итальянских мастеров: всё какие-то старинные пейзажи да мифологические и религиозные сюжеты. Но так как все эти картины очень почернели и даже покоробились, то в глаза били одни пятна телесного цвета – а не то волнистое красное драпери на незримом туловище, или арка, словно в воздухе висящая, или растрепанное дерево с голубой листвой, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с суповой чаши, взрезанный арбуз с черными семечками, чалма с пером над лошадиной головой – или вдруг выпячивалась гигантская коричневая нога какого-то апостола, с мускулистой икрой и задранными кверху пальцами. В гостиной на почетном месте висел портрет императрицы Екатерины II во весь рост, копия с известного портрета Лампи, предмет особого поклонения, можно сказать, обожания хозяина. С потолков спускались стеклянные люстры в бронзовых оправках, очень маленькие и очень пыльные.

Сам Алексей Сергеич был приземистый, пузатенький старичок с одноцветным пухлым, но приятным лицом, с ввалившимися губками и очень живыми глазками под высокими бровями. Он зачесывал на затылок свои редкие волосики: он только с 1812 года перестал пудриться. Ходил Алексей Сергеич постоянно в сером «реденготе» с тремя воротниками, падавшими на плечи, полосатом жилете, замшевых штанах и темно-красных сафьянных сапожках с сердцевидными вырезами и кисточками наверху голенищ; носил белый кисейный галстух, жабо, маншеты и две золотые англий-

ские «луковицы», по одной в каждом кармане жилета. В правой руке он обыкновенно держал эмалированную табатерку со «шпанским» табаком – а левой опирался на трость с серебряным, от долгого употребления гладко вытертым набалдашником. Голосок имел Алексей Сергеич носовой, пискливый – и постоянно улыбался, ласково, но как бы свысока, не без некоторой самодовольной важности. Он и смеялся тоже ласково, тонким, как бисер мелким смехом. Вежлив и приветлив был он до крайности – на старинный екатерининский манер – и двигал руками медленно и округло, тоже по-старинному. По слабости ног он не мог ходить, а перебегал торопливыми шажками с кресла на кресло, в которое садился вдруг – скорее падал – мягко, как подушка.

Как я уже сказал, Алексей Сергеич никуда не выезжал и с соседями знался мало, хоть и любил общество, – ибо словоохотлив был! Правда, общества у него вдоволь водилось и дома: разные Никаноры Никанорычи, Савастеи Савастеичи, Федулычи, Михеичи, всё бедные дворянчики в поношенных казакинах и камзолах, часто с барского плеча, проживали под его кровом, не говоря уже о бедных дворяночках в ситцевых платьях, черных платках внакидку и с гарусными ридикиюлями в крепко стиснутых пальцах – разных Авдотиях Савишных, Пелагеях Мироновых и просто Феклушках и Аринках, приютившихся на женской половине. За стол у Алексея Сергеича никогда меньше пятнадцати человек не садилось... Такой он был хлебосол! Между все-

ми этими приживальщиками особенно выдавались две личности: карлик, по прозвищу Янус, или Двулицый, датского, а иные утверждали – еврейского происхождения, да сумасшедший князь Л. В противность тогдашним обычаям, карлик этот вовсе не служил потехой для господ и не был шумом; напротив: он постоянно молчал, вид имел озлобленный и суровый, хмурил брови и скрипел зубами, как только обращались к нему с вопросами. Алексей Сергеич звал его также филозобфом и даже уважал его; за столом ему всегда первому, после гостей и хозяев, подавали блюда. «Бог его обидел, – говаривал Алексей Сергеич, – на то его господня воля; а УЖ мне-то его не обижать стать». – «Почему же он филозоф?» – спросил я однажды. (Меня Янус не жаловал, бывало, лишь только я подойду к нему – он тотчас окрысится и проворчит хрипло: «Чужак! не приставай!») «Как же, помилуй бог, не филозобф? – ответил Алексей Сергеич. – Ты, сударик, посмотри, как он таково хорошо молчит!» – «А почему же он Двулицый?» – «А потому, сударик, что наружу-то у него одно лицо – вот вы, верхогляды, и судите... А другое, настоящее, он скрывает, и то лицо знаю я один – и люблю его за это... Потому: хорошее то лицо. Ты, например, и глядишь, да ничего не видишь... а я и без слов вижу: осуждает он меня за нечто; потому: он строгий! И всегда-то за дело! Сего ты, судари», не поймешь; но только верь мне, старику!» Настоящей история Двулицего Януса – откуда он прибыл, как попал к Алексею Сергеичу – никто не ведал; зато история

князя Л. была хорошо всем известна. Двадцатилетним юношей, из богатой и знатной фамилии, он приехал в Петербург на службу в гвардейском полку; на первом же куртаге императрица Екатерина его заметила – и, остановившись перед ним да указав на него веером, громко промолвила, обратись к одному из своих приближенных: «Посмотри, Адам Васильевич, какой красавчик! Настоящая куколка!» Кровь бросилась бедному мальчику в голову: вернувшись домой, он велел заложить коляску – и, надев на себя анненскую ленту, пустился разъезжать не городу, словно он и точно в случай попал. «Дави всех, – кричал он кучеру, – кто не посторонится!» Тотчас же всё это было доведено до высочайшего сведения; вышел приказ – объявить его сумасшедшим и отдать на порук» двум его братьям; а те, нимало не медля, отвезли его в деревню и посадили в каменный мешок на цепь. Желая воспользоваться его именем, они не выпустили несчастного даже тогда, когда он опомнился и пришел в себя – и так и продержали его взаперти, пока он действительно не сошел с ума. Но не впрок пошло им их злодейство: князь Л. пережил своих братьев и, после долгих мытарств, очутился на попечении Алексея Сергеича, которому доводился родственником. Это был толстый, совершенно лысый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами навывкат. Он совсем разучился говорить – он только бурчал что-то непонятное; но отлично пел старинные русские песни, сохранив до глубокой старости серебристую свежесть голоса и во время пения

ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нечто вроде ярости – я тогда он делался страшен: становился в угол, к стене лицом – и весь потный да красный, через всю лысину до затылка красный, заливаясь злобным хохотом я топяя ногами, повелевал наказывать кого-то – вероятно, братьев. «Бей! – хрипел он, давясь и кашляя от смеха, – секи, се жалея, бей, бей, бей извергов, злодеев моих! Вот так! Вот так!» Накануне своей смерти он очень удивил и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий – и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попросил послать за священником; ибо смерть пришла к нему – он ее видел – и ему надо всех простить и себя обелить. «Как же ты ее видел? – пробормотал изумленный» Алексей Сергеич, в первый раз услышав от него связную речь. – Какова она из себя? С косою, что ли?» – «Нет, – отвечал князь Л., – старушка простенькая, в кофте – только на лбу глаз один, а глазу тому и веку нет». И на другой день князь Л. действительно скончался, совершив всё должное и простившись со всеми, вразумительно и умиленно. «Вот так и я умру», – замечая, бывало, Алексей Сергеич. И точно: нечто подобное с ним случилось – о чем после.

А теперь возвратимся к прежнему. С соседями, я уже сказал, Алексей Сергеич не водился; и они его недолюбливали, называли его чудачком, гордецом, пересмешником и даже не признающим властей маргинистом, не понимая, конеч-

но, значения этого последнего слова. До некоторой степени соседи были правы: Алексей Сергеич чуть не семьдесят лет сряду прожил в своем Суходоле, не имея почти никаких сношений с предержажными властями, с начальством и судом. «Суд для разбойника, команда для солдата, – говаривал он, – а я, слава богу, не разбойник и не солдат». Чудаковат был точно Алексей Сергеич, но душа в нем была не из мелких. Порасскажу кое-что о нем.

Доподлинно я никогда не знал, какие были его политические мнения – если только можно применить к нему такое новейшее выражение; но, по-своему, он был аристократ – скорей аристократ, чем барин. Не раз он сожалел о том, что бог не дал ему сына-наследника «в честь роду, в продолжение фамилии». У него в кабинете висело на стене родословное дерево Телегиных, очень ветвистое, со множеством кружков в виде яблоков, в золотой раме. «Мы, Телегины, – говорил он, – род исконный, извечный; сколько нас, Телегиных, ни было, – по прихожим мы не таскались, хребта не гнули, по рундучкам ног не отстаивали, по судам не кормились, жалованного не нашивали, к Москве не тянули, в Питере не кляузничали; сиднями сидели, каждый на своей *chetti*, свой человек, на своей земле... гнездари, сударь, домовитые! Я сам хоть и в гвардии служил – да, спасибо, недолго». Алексей Сергеич предпочитал старое время. «Вольнее было тогда, благообразнее, по чести тебе доложу! – а с тысяща восьмьсотого года (почему именно с этого года? – он не

объяснял) пошла, братец ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надели себе на голову господа военные какие-то там салтаны из петушиных хвостов – и сами петухам уподобились; шею затянули туго-натуго... хрипят, глаза таращат – да и как не хрипеть? Надясь ко мне полицейский капрал какой-то наехал: «Я, мол, до вас, ваше благородие... (вишь, чем удивить вздумал!., я и сам знаю, что рожден благо...) имею до вас дело». А я ему: «Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротнике расстегни. А то, помилуй бог, чихнешь! Ах, что с тобою будет! Что с тобою будет! Лопнешь ты, как гриб-дождевик... А я отвечай!» И пьют же они, эти военные господа, – о-го-го! Я им всё больше цимлянское велю подавать; потому – им что цимлянское, что понтак – всё едино; гладко, скоро так у них в горле проходит – где тут различить? А то вот еще: соску стали эту сосать, табак курить. Запахает себе военный человек эту самую соску под усища в губища – ноздрями, ртом и даже ушами дым пушает, – и думает, что герой! Вот и зяттики мои – хоть один из них и сенатор, а другой какой-то там куратор – тож эту соску сосут и за умниц тож себя почитают!..»

Алексей Сергеич терпеть не мог курительного табаку, да вот еще собак, особенно маленьких. «Ну, коли ты француз, держи себе болонку: *ты* бегаешь, *ты* прыгаешь тюды-сюды, и она за тобой, задравши хвост... а нашему-то брату на что она?» Очень он был опрятен и привередлив. Об императрице Екатерине говорил не иначе как с восторгом и возвышен-

ным, несколько книжным слогом: «Полубог был, не человек! Ты, сударик, посмотри только на улыбку сию, – прибавлял он, почтительно указывая на лампиевский портрет, – и сам согласишься: полубог! Я в жизни своей столь счастлив был, что удостоился лицезреть сию улыбку, и вовек она не изгладится из сердца моего!» И при этом он сообщал анекдоты из жизни Екатерины, каких мне нигде не случилось ни читать, ни слышать. Вот один из них. Алексей Сергеич не позволял ни малейшего намека на слабости великой царицы. «Да и наконец, – восклицал он, – разве о ней можно так судить, как о прочих людях? Однажды она, во время утреннего туалета, в пудраманте сидя, повелела расчесать себе волосы... И что же? Камерфрау проводит гребнем – а электрические искры так и сыплются! Тогда она подозвала к себе тут же по дежурству находившегося лейб-медика Роджерсона и говорит ему: «Меня, я знаю, за некоторые поступки осуждают: но видишь ты электричество сие? Следовательно, при таковой моей натуре и комплекции – сам ты можешь заключить, ибо ты врач, – что несправедливо меня осуждать, а постичь меня должно!» Неизгладимым остался в памяти Алексея Сергеича следующий случай. Стоял он однажды во внутреннем карауле, во дворце – а было ему всего лет шестнадцать. И вот проходит императрица мимо его – он отдает честь... «а она, – с умилением тут опять восклицал Алексей Сергеич, – улыбнувшись на юность мою и на усердие мое, изволила дать мне ручку свою поцеловать и по щеке потрепать и расспро-

силь: кто я? откуда? какой фамилии? а потом... – Тут голос старика обыкновенно прерывался, – потом приказала моей матушке от своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что так хорошо воспитывает детей своих. И был ли я при сем на небе или на земле – и как и куда она изволила удалиться, в горния ли воспарила, в другие ли покои проследовала... по сие время не знаю!» Я не раз пытался расспрашивать Алексея Сергеича о тех давних временах, о людях, окружавших императрицу... Но он большей частью уклонялся. «Что о старине толковать-то? – говаривал он... – только себя мучить: что вот, мол, был ты тогда молодцом, а теперь и последних зубов у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина... ну и бог с ней! А что касательно до тех людей – ведь ты, чай, егоза, о случайных людях речь заводишь? – так видал ты, как на воде волдырь вскочит? Пока он цел да держится – какие же на нем цвета играют! И красные, и желтые, и синие – просто сказать надо: радуга или вот алмаз! Только вскорости он лопается – и следа от него нет. Так вот и люди те такие были».

– Ну, а Потемкин? – спросил я однажды.

Алексей Сергеич принял важный вид.

– Потемкин, Григорий Александрович, был муж государственный, богослов, екатерининский воспитанник, чадо ее, так надо сказать... Но довольно о сем, сударик!

Алексей Сергеич был человек очень набожный – и хотя через силу, но церковь посещал исправно. Суеверия в нем

не замечалось; он издевался над приметами, глазом и певчей «нескладицей», однако не любил, когда заяц ему перебежал дорогу, и встреча с попом была ему не совсем приятна. Со всем тем был к духовным лицам очень почтителен я под благословенье подходил и даже руну всякий раз целовал, но неохотно с ними беседовал. «Очень от них дух силён идет, – объяснял еж, – я же, грешный, непутем изнежился; волосы у них такие большие да масляные, расчешут их во все стороны – думают, что тем мне уважение доказывают, и громко так между разговором крикает – от робости, что ля, или тоже желают мне тем угодить. Ну да и смертный час напоминают. А я, как-никак, еще жить желаю. Только ты, сударик, этих речей за мной ее повторяй; уважай духовный чин – одни дураки его не уважают; и я виноват, что на старости лет вздор горожу».

Учен был Алексей Сергеич на медные деньги – как все тогдашние дворяне; но до некоторой степени сам чтением восполнял этот недостаток. Книги же читал одни русские, конца прошлого века; новейших сочинителей находил пресными и в слоте слабыми... Во время чтения ставился возле него на одноногий круглый столик серебряный жбан с каким-то особенным мятным пенистым квасом, от которого приятный запах распространялся по всем комнатам. Сам же он надевал при этом на конец носа большие круглые очки; но в последнее время не столько читал, сколько задумчиво глядел выше оправы очков, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Раз я

застал его плачущим с книгою на «оленях – что меня очень, признаться, удивило.

Вспомнились ему следующие стишки:

О, всебедный род людской!
Незнаком тебе покой!
Ты лишь оный обретаешь,
Пыль могильну коль глотаешь...
Горек, горек сей покой!
Спи, мертвец!.. Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены неким Гормич-Гормицким, странствующим пинтой, которого Алексей Сергеич приютил было у себя в даме – так как он показался ему человеком деликатным и даже субтильным: носил бамаачки с бантиками, говорил на *о* и, поднимая глаза к небу, часто вздыхал; кроме всех этих достоинств, Гормич-Гормицкий изрядно говорил по-французски, ибо получил воспитание в иезуитском коллeгиуме, – а Алексей Сергея» только «понимал». Но, напившись раз мертвецки пьяным в кабаке, этот самый субтильный Гормицкий оказал буйство непомерное: «вдребезгу» расквoрянил Алексей Сергеичина камердинера, повара, двух подвернувшихся прачек в даже постороннего столяра – да несколько стекол перебил в окнах, причем кричал неистово: «А вот я им доскажу, этим русским тунeядцам, кацапам необтесанным?» И какая в этом тщедушном существе сила

проявилась! Едва с ним сладило восемь человек! За самое это буйств» Алексей Сергеич велел стихотворца вытолкать воя из дому, посадивши его предварительно «афендроном» в снег – дело было зимою – для протрезвления.

«Да, – говаривал, бывало, Алексей Сергеич, – прешла моя пора; был конь, да изъездился. Вот я и стихотворцев на своем иждивеньи содержал, и картины и книги скупал у евреев, – и гуси были не хуже мухановских, голуби-турманы глинистые настоящие... До всего-то я был охоч! Разве вот собачником никогда не был – потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный был я, неукротимый. Что-бы у Телегина да не первый во всем сорт... да помилуй бог! И конские завод имел на слажу. И шли те коня... откуда ты думаешь, сударик? От самых тех знаменитейших заводов царя Ивана Алексеича, брата Петра Великого... верно тебе говорю! Все жеребцы бурые в масле – гривы по́колень, хвосты по́копыть... Львы! И всё то было – да быльем поросло. Суета суетствий и всяческая суета! А впрочем – чего жалеть! Всякому человеку свой предел положён. Выше неба не взлетишь, в воде не проживешь, от земли ею уйдешь... поживем еще, как-никак!»

И старик опять улыбался и понюхивал свой шпанский табачок.

Крестьяне любили его; барин был, по их словам, добрый, сердца не срывчивого. Только и они повторяли, что изъезжен, мол, конь. Прежде Алексей Сергеич сам во всё входил – и в поле выезжал, и на мельницу, и на маслобойню – и в ам-

бары, и в крестьянские избы заглядывал; всем знакомы были его беговые дрожки, обитые малиновым плисом и запряженные рослой лошадей с широкой проточиной во весь лоб, но прозвищу «Фонарь» – из самого того знаменитого завода; Алексей Сергеич сам ею правил, закрутив концы вожжей на кулаки. А как стукнул ему семидесятый годок – махнул старик на всё рукою и поручил управление именем бурмистр у Антипу, которого втайне боялся и звал Микромэгасом (волтеровские воспоминания!), а то и просто – грабителем. «Ну, грабитель, что скажешь? Много в пуньку натаскал?» – говорит он, бывало, с улыбкой глядя в самые глаза грабителю. «Всё вашею милостью», – весело отвечает Антип. «Милость милостью – а только ты смотри у меня, Микромэгас! крестьян, заглазных подданных моих, трогать не смей! Станут они жаловаться... трость-то у меня, видишь, недалеко!» – «Тросточку-то вашу, батюшка Алексей Сергеич, я завсегда хорошо помню», – отвечает Антип-Микромэгас да поглаживает бороду. «То-то, помни!» И барин и бурмистр, оба смеются в лицо друг другу. С дворовыми, вообще с крепостными людьми, с «подданными» (Алексей Сергеич любил это слово) он обходился кротко. «Потому, посуди, племянничек, своего-то ничего нету, разве крест на шее – да и тот медный, – на чужое зариться не моги... где ж тут быть разуму?» Нечего и говорить, что о так называемом крепостном вопросе в то время никто и не помышлял; не мог он волновать и Алексея Сергеича: он преспокойно владел своими «поддан-

ными»; но дурных помещиков осуждал и называл врагами своего звания. Он вообще дворян разделял на три разряда: на путных, «коих маловато»; на распутных, «коих достаточно», и на беспутных, «коими хоть пруд пруди». А если кто из них с подданными крут и притеснителен – тот и перед богом грешен и перед людьми виноват! Да: хорошо жилось дворовым у старика; «заглазным подданным», конечно, хуже, несмотря на трость, которою он грозил Микромэгасу. И сколько их водилось, этих самых дворовых, в его доме! И всё больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, в плечах согбенные, в нанковые длиннополые кафтаны облеченные – с крепким, кислым запахом! А на женской половине только и слышно было, что топот босых ног да шлюпанье юбок. Главного камердинера звали Иринархом; и кликал его всегда Алексей Сергеич протяжным криком: «И-ри-на-а-арх!» Других он звал: «Малый! Малец! Кто там есть подданный!» Колокольчиков он не терпел: что за трактир, помилуй бог! И удивляло меня то, что в какое бы время ни позвал Алексей Сергеич своего камердинера – тот немедленно являлся, словно из земли выросал – и, сдвинув каблуки и заложив за спину руки, стоял перед барином угрюмый и как бы злой, но усердный слуга!

Щедр был Алексей Сергеич не по состоянию; но не любил, когда его величали благодетелем. «Какой я вам, сударь, благодетель!.. Я себе благо делаю – а не вам, сударь мой!» (когда он гневался или негодовал, он всегда «выкал»). «Нищему, –

говаривал он, – подай раз, подай два, подай три... Ну, а коли он в четвертый раз придет – подать ему ты все-таки подай, только прибавь при сем: ты бы, братец, чем бы другим поработал – не всё ртом». – «Дяденька, – спросишь его, бывало, – если же нищий и после этого в пятый раз придет?» – «А ты и в пятый раз подай». Больных, которые к нему прибегали за помощью, он на свой счет лечил – хотя сам в докторов не верил и никогда за ними не посылал. «Матушка-покойница, – уверял он, – ото всех болезней прованским маслом с солью лечила – и внутрь давала и натирала – и всё прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петре Первом рождение свое имела – ты только это сообрази!»

Русский человек был Алексей Сергеич во всем: любил одни русские кушанья, любил русские песни – а гармонику, «фабричную выдумку», ненавидел; любил глядеть на хороводы девок, на пляску баб; в молодости он сам, говорят, пел залиvisto и плясал лихо; любил париться в бане – да так сильно париться, что Иринарх, который, служа ему банщиком, сек его березовым, в пиве вымоченным веником, тер мочалкой, тер суконкой, катал намыленным пузырем по барским членам, – этот вернопреданный Иринарх всякий раз, бывало, говаривал, слезая с полка, красный, как «новый медный статуй»: «Ну, на сей раз я, раб божий, Иринарх Тоболев, еще уцелел... Что-то будет в следующий?»

И говорил Алексей Сергеич славным русским языком, несколько старомодным, но вкусным и чистым, как ключе-

вая вода, то и дело пересыпая речь любимыми словцами: «по чести, помилуй бог, как-никак, сударь да сударик...»

А впрочем, будет о нем. Побеседуем об Алексее Сергеевиче Супруге, Маланье Павловне:

Была Маланья Павловна московская уроженка, первой слыла красавицей по Москве, la Vênuŝ de Moscou {московской Венерой (*франц.*)}. Я ее зазнал уже старой, худой женщиной, с тонкими, но незначительными чертами лица, с заячьими кривыми зубками в крошечном ротике, со множеством мелко завитых желтых кудряшек на лбу, с крашеными бровями. Ходила она постоянно в пирамидальном чепце с розовыми лентами, высоком крагене вокруг шеи, белом коротком платье и прюнелевых башмаках на красных каблучках; а сверху платья носила кофту из голубого атласу, со спущенным с правого плеча рукавом. Точно такой туалет был на ней в самый Петров день 1789 года! Пошла она в тот день, еще девицей будучи с родными на Ходынское поле, посмотреть знаменитый кулачный бой, устроенный Орловым. «И граф Алексей Григорьевич (о, сколько раз слышал я этот рассказ!)... заметав меня, подошел, поклонился низехонько, взяв шляпу в обе руки, и сказал так: «Красавица писаная, – сказал он, – что ты это рукав с плечика спустила? Аль тоже на кулачки со мной побиться желаешь?.. Изволь; только напредки говорю тебе: победила ты меня – сдаюсь! И я твой еемь пленник!..» И все на нас смотрели и удивлялись». И самые этот туалет она с тех пор постоянно носила. «Только не

чепец тогда был на мне – а шляпа а-ля бержер де Трианон; и хотя я и напудренная; была – но волосы мои, как золото, так и сквозили, так и сквозили!» Маланья Павловна была глупа, что называется, до святости; болтала зря, словно и сама хорошенько не знала, что это у ней из уст выходит, – всё больше об Орлове. Орлов стал, можно; сказать, главным интересом ее жизни. Она обыкновенно входила... нет! вползала, мерно двигая головою, как пава, в комнату, становилась посередине, как-то странно вывернув одну ногу и придерживая двумя пальцами конец спущенного; рукава (должно быть, эта поза тоже когда-нибудь понравилась Орлову); горделиво-небрежно взглядывала кругом, как оно и следует красавице, – даже пофыркивала и шептала: «Вот еще!», точно к ней какой-либо назойливый кавалер-супирант {кавалер-вздохатель (от *франц.* cavalier-soupirant).} приставал с комплиментами, – и вдруг уходила, топнув каблучком и дернув плечиком. Табак она тоже нюхала шпанский, из крошечной бонбоньерки, доставая его крошечной золотой ложечкой, – и от времени до времени, особенно когда появлялось новое лицо, подносила снизу – не к глазам, а к носу (она видела отлично) – двойной лорнет, в виде рогульки, щеголяя и вертя беленькой ручкой с отделенным пальчиком. Сколько раз описывала мне Маланья Павловна свою свадьбу в церкви Вознесения, что на Арбате, – такая хорошая церковь! – и как вся Москва тут присутствовала... давка была какая! ужаси! Экипажи цугом, золотые кареты, скороходы... один

скороход графа Завадовского даже под колесо попал! И венчал нас сам архиерей – и предику какую сказал! все плакали – куда я ни посмотрю, всё слезы, слезы... а у генерал-губернатора лошади были тигровой масти... И сколько цветов, цветов нанесли!.. Завалили цветами! И как по этому случаю один иностранец, богатый-пребогатый, от любви застрелился – и как Орлов тоже тут присутствовал... И, приблизившись к Алексею Сергеичу, поздравил его и назвал его счастливым... Счастливым, мол, ты, брат губошлеп! И как, в ответ на эти слова, Алексей Сергеич так чудесно поклонился и махнул плюмажем шляпы по полу слева направо... Дескать, ваше сиятельство теперь между вами и моей супругой есть черта, которую вы не преступите! И Орлов, Алексей Григорьевич, тотчас повял и похвалил. О! Это был такой человек! такой человек! А то, в другой раз, мы с Алексисом были у него на бале – я уже замужем была – и какие были на нем чудесные бриллиантовые пуговицы! И я не выдержала, по-хваяя. Какие, говорю, у вас, граф, чудесные бриллианты! – А он, взяв тут *те* со стола нож, отрезал одну пуговицу и презентовал мне ее и сказал: «У вас, голубушка, в глазах во сто крат лучше бриллианты; ставьте-ка перед зеркалом да посравните». И я стала, и он стал со мной рядом. «Ну что? кто прав?» – говорит, а сам глазами так и водит, так и водит вокруг меня. И Алексей Сергеич тут очень оконфузился; но я ему сказала: «Алексис, – сказала я ему, – ты, пожалуйста, не конфузься; ты должен лучше меня знать». И он мне от-

ветил: «Будь покойна, Мелани!» И самые эти бриллианты у меня теперь вокруг медальона Алексея Григорьевича – ты, чай, видел, голубчик, я его по праздникам на плече ношу, на георгиевской ленте – потому храбрый был он очень герой, георгиевский кавалер: турку сжег!

Со всем тем была Маланья Павловна женщина очень добрая: угодить ей было легко. «Ни она тебя грызь, ни она тебя шпынь», – отзывались о ней горничные. До страсти любила Маланья Павловна всё сладкое – и особая старушка, которая только и занималась, что вареньем, а потому и прозывалась варенухой, раз по десяти на день подносила ей китайское блюдечко – то с розовыми листочками в сахаре, то с барбарисом в меду или с ананасные шербетом. Маланья Павловна боялась одиночества – страшные мысли тогда находят – и почти постоянно была окружена приживалками, которых убедительно просила: «Говорите, мол, говорите, что так сидите – только месте свои греете!» – и они трещали, как канарейки. Будучи набожной не меньше Алексея Сергеевича, она очень любил молиться; но так как, по ее словам, она хорошо читать молитвы не выучилась, то и держалась на то бедная вдова-дьяконица, которая уж так-то вкусно молилась! Не запнется ни вовек! И действительно: дьяконица эта умела как-то неудержимо произносить молитвенные слова, не прерывая их ни при вдыханье, ни при выдыханье – а Маланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней другая вдовушка; та должна была рассказывать ей на ночь сказ-

ки, – но только старые, просила Маланья Павловна, те, что я уж знаю; новые-то все выдуманы. Очей была Маланья Павловна легкомысленна, а иногда и мнительна: вдруг ей что в голову взбредет! Не жаловала она, например, карлика Януса; всё думалось ей, что он вдруг возьмет да закричит: «А знаете вы, кто я? Бурятский князь! Вот вы и покоряйтесь!» – А не то дом от меланхолии подожжет. Щедра была Маланья Павловна так же, как и Алексей Сергеич; но никогда деньгами не подавала – ручек не хотела марать, – а платками, сережками, платьями, лентами; или со стола пошлет пирог да жаркого кусок – а не то сткляницу вина. Баб по праздникам тоже угощать любила: станут они плясать» а она каблучками притопывает и в позу становится.

Алексей Сергеич очень хорошо знал, что жена его глупа; но чуть ли не с первого году женитьбы приучил себя притворяться, будто она очень остра на язык и любит колкости говорить. Бывало, как только она слишком разболтается, он тотчас погрозит ей мизинцем и приговаривает: «Ох, язычок, язычок! уж достанется ему на том свете! Проткнут его горячей шпилькой!» Маланья Павловна этим, однако, не обижалась; напротив – ей как будто лестно было слышать такие слова: что ж, мол! Не моя вина, что умна родилась!

Маланья Павловна обожала своего мужа – и всю жизнь оставалась примерно верной женой; но был и в ее жизни «предмет», молодой племянник, гусар, убитый, как она полагала, на дуэли из-за нее – а по более достоверным изве-

ствиям, умерший от удара кием по голове в трактирной компании. Акварельный портрет этого «предмета» хранился у ней в секретном ящике. Маланья Павловна всякий раз краснела до ушей, когда упоминала о Капитонушке – так звался «предмет»; а Алексей Сергеич нарочно хмурился, опять грозил жене мизинцем и говорил: «Не верь коню в поле, а жене в доме! Ох, уж этот мне Капитонушка, Купидонушка!» Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась и восклицала: «Алексис, грешно вам, Алексис! Сами-то вы в молодости, небось, «махались» с разными сударками – так вот, вы и полагаете...» – «Ну полно, полно, Маланьюшка, – перебивал с улыбкой Алексей Сергеич, – бело твое платье, а душа еще белей!» – «Белей, Алексис, белей!» – «Ох, язычок, по чести язычок», – повторял Алексис и трепал ее по руке.

Упомянуть об «убеждениях» Маланьи Павловны было бы еще неуместнее, чем об убеждениях Алексея Сергеича; однако мне раз пришлось быть свидетелем странного проявления затаенных чувств моей тетушки. Я как-то раз, в разговоре, упомянул об известном Шешковском: Маланья Павловна внезапно помертвела в лице – так-таки помертвела, позеленела, несмотря на наложенные белила и румяна – и глухим, совершенно искренним голосом (что с ней случилось очень редко – она обыкновенно всё как будто немножко рисовалась, тонировала да картавила) проговорила: «Ох! кого ты это назвал! Да еще к ночи! Не произноси ты этого имени!» Я удивился: какое могло иметь значение это имя для такого

безобидного и невинного существа, которое не только сделать, но и подумать не сумело бы ничего непозволительного? На не совсем веселые размышления навел меня этот страх, проявившийся чуть не через полстолетия.

Скончался Алексей Сергеич на восемьдесят восьмом году от рождения, в самый 1848 год, который, видно, смутил даже его. И смерть его была довольно странная. Он еще поутру хорошо себя чувствовал, хотя уже совсем не покидал кресла. И вдруг он зовет жену: «Маланьюшка, подь-ка сюда». – «Что тебе, Алексис?» – «Помирать мне пора, голубушка, вот что». – «Бог с вами, Алексей Сергеич! Отчего так?» – «А вот отчего: перво-наперво, надо и честь знать; и еще: смотрю я себе давеча на ноги... чужие ноги – да и полно! На руки... и те чужие! Посмотрел на брюхо – и брюхо чужое! Значит: чужой век заедаю. Пошли-ка за попом; а пока – уложи меня на постелюшку, с которой я уже не встану». Маланья Павловна переполошилась – однако уложила старика и за попом послала. Алексея Сергеич исповедался, причастился, попростился с домочадцами – и стал засыпать. Маланья Павловна сидела у его кровати. «Алексис! – вскрикнула она вдруг, – не пугай меня, не закрывай глазки! Аль болит что?» Старик посмотрел на жену. «Нет, не болит ничего... а трудновато... дышать трудновато». Потом, помолчав немного: «Маланьюшка, – промолвил он, – вот и жизнь проскочила, а помнишь, как мы венчались... какова была парочка?» – «Была, красавчик ты мой, Алексее ненаглядный!» Старик опять помолчал.

«Маланьюшка, а встретимся мы на том свете?» – «Буду о том бога молить, Алексис». И старушка залилась слезами. «Ну не плачь, глупенькая; авось, нас там господь бог помолодит – и мы опять станем парочкой!» – «Помолодит, Алексис!» – «Ему, господу, всё возможно, – заметил Алексей Сергеич. – Он чудотворец! – пожалуй, и умницей тебя сотворит... Ну, душка, пошутил; дай поцелую ручку». – «А я твою». И оба старичка поцеловали друг у друга в подвертку руку.

Алексей Сергеич начал утихать и забываться. Маланья Павловна умиленно глядела на него, сбрасывая кончиком пальца слезинки с ресниц. Часа два просидела она так. «Започивал?» – спрашивала шёпотом старушка, что молиться хорошо умела, высовываясь из-за Иринарха, который неподвижно как столб стоял у двери и пристально смотрел на отходившего барина. «Почивает», – отвечала Маланья Павловна тоже шёпотом. И вдруг Алексей Сергеич открыл глаза. «Подруга моя верная, – пролепетал он, – супруга моя почтенная, в ножки тебе бы поклонился за всю твою любовь и верность – да где встать? Дай хоть перекрещу тебя». Маланья Павловна придвинулась, наклонилась... Но приподнятая рука упала бессильно на одеяло – и через несколько мгновений не стало Алексея Сергеича.

Дочери его успели только к похоронам с мужьями; детей у них не было – ни у той, ни у другой. Алексей Сергеич их не обидел в своем завещанье, хотя и не вспомнил о них на смертном одре. «Замшилось к ним мое сердце», – сказал он

мне однажды. Зная его доброту, я дивился его словам. Трудно рассудить родителей с детьми. «Большой овраг малой начинается трещиной, – сказал Алексей Сергеич мне в другой раз по тому же поводу, – в аршин рана заживает, а отруби хоть ноготь – не прирастет».

Мне сдается, что дочери стыдились своих чудаковатых стариков.

Месяц спустя не стало и Маланьи Павловны. С самого дня кончины Алексея Сергеича она уже почти вв вставала и не наряжалась; но похоронили ее в голубой кофте и с медальоном Орлова на плече, только без бриллиантов. Их поделили дочери под тем предлогом, что пойдут те бриллианты на оклады образов; на деле же они их употребили на украшение собственных особ.

И вот – как живые стоят передо мною мои старика, и хорошее храню я о них воспоминание. А между тем в самый мой последний приезд к ним (я уже тогда был студентом) совершилось событие, которое внесло некоторый разлад в то гармонически патриархальное настроение, которое телегинский дом навевал на меня.

В числе дворовой прислуги состоял некто Иван, не кличке Сухих – кучер или кучерок, как его врезывали за малый его рост, несмотря на его уже немолодые лета. Крошечный это был человечек, вертлявый, курносый, кудрявый, с вечно смеющимся младенческим лицом и мышиными глазками. Большой он был балагур и потешник; всякую штуку умел смасте-

ритель, фейерверки пускал, змеи, во все игры играл, стоя на лошади скакал, выше всех взлетал на качелях, даже китайские тени умел представлять. Никто лучше его не забавлял детей – и сам он с ними хоть целый день рад был возиться. Примется хохотать – весь дом расколышет: то тут, то там ему отвечают – разберет всех... И ругаются, да смеются. Плясал Иван удивительно – особенно «рыбку». Грянет хор плясовую, парень выйдет на середину круга – да и ну вертеться, прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь – да и представляет движения рыбки, которую выкинули из воды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку подводит; а там как вскочит, загогочет – просто земля под ним дрожит! Бывало, Алексей Сергеич, большой, как я уже сказывал, охотник до хороводов, никак не может утерпеть, чтоб не закричать: «Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку нам валяй, живо!» – а через минуту уже восторженно шепчет: «Ах он, такой-сякой!»

И вот в последний мой приезд входит этот самый Иван Сухих ко мне в комнату и, ни слова не говоря, становится на колени. «Иван, что с тобой?» – «Спасите, барин!» – «Как, что такое?» И рассказал мне тут Иван свою беду.

Был он выменян – лет двадцать тому назад – от господ Сухих на другого крепостного телегинского человека; так-таки просто выменян, безо всяких формальностей и бумаг; отданный за него человек помер, а господа Сухие забыли об Иване – и остался он в доме Алексея Сергеича, как свой; од-

но лишь прозвище его напоминало об его происхождении. Но вот умерли и прежние его господа; имение попало в другие руки – и новый владелец, о котором ходили слухи, что он человек жестокий, мучитель, проведая, что один из его крепостных обретается безо всякого вида и права у Алексея Сергеича, стал его требовать обратно; в случае же отказа грозил судом и штрафом – и грозил не попустому, так как сам состоял в чине тайного советника и большой имел по губернии вес. Иван, с перепугу, бросился к Алексею Сергеичу. Жалко стало старику своего плясуна – и предложил он тайному советнику купить у него Ивана за хорошие деньги; но тайный советник и слышать не хотел: был он малоросс и упрям как чёрт. Приходилось отдавать бедняка. «Я здесь сжился, я здесь освоился, я здесь служил, хлеб ел и помереть здесь желаю», – говорил мне Иван – и уже не было усмешки на его лице; напротив – оно точно окаменело... «А теперь я должен идти к этому злодею... Али я собака, что с одной псарни на другую, завязавши оселом шею... на, мол, тебе! Спасите, барин; помолите вы дяденьку – вспомните, как я всегда вас потешал... А то худо ведь будет; без греха дело не обойдется».

– Без какого греха, Иван?

– А убью я того-то барина. Так и приду да скажу ему: «Барин, отпустите меня обратно; а не то – смотрите, оберегайтесь... я вас убью».

Если бы зяблик или чиж мог говорить и стал бы уверять

меня, что он заключает другую птицу – не привел бы он меня в большее изумление, чем Иван о ту пору. Как! Ваня Сухих, этот плясун, балагур, потешник, любимец детей и сам дитя – это добродушнейшее существо – убийца! Что за чепуха! Ни на мгновенье не поверил я ему; меня до крайности поразило уже то, что он мог выговорить такое слово! Однако я отправился к Алексею Сергеичу. Не передал я ему того, что сказал мне Иван, но всячески стал просить его, нельзя ли как-нибудь поправить дело? «Сударик ты мой, – отвечал мне старик, – и рад бы радостью, но как быть? Предлагал я этому хохлу вознаграждения великие – триста рублей предлагал, по чести тебе говорю! а он – куды тебе! Что станешь делать? Поступлено было противозаконно, на веру, по старине... а теперь вон какое худо вышло! Ведь хохол тот, чего доброго, силком Ивана у меня возьмет – рука его властная, губернатор у него щи хлебает – солдат пришлет хохол! А боюсь я солдат-то этих! Прежде, что говорить, я как-никак отстоял бы Ивана; а теперь посмотри ты на меня, какой я дряхлец стал. Где мне воевать?» Действительно: в последний мой приезд я нашел Алексея Сергеича чрезвычайно постаревшим: даже зрачки его глаз приняли молочный цвет – как у младенцев – и на губах появилась не прежняя сознательная улыбка, а та напряженно-слащавая, бессознательная усмешка, которая и во время сна не сходит с них у очень дряхлых людей.

Сообщил я решение Алексея Сергеича Ивану. Он посто-

ял, помолчал, помотал головою. «Ну, – сказал он наконец, – чему быть, того не миновать. А только слово мое крепко. Значит: одно осталось... почудесить напоследях. Барин, пожалуйста на водку!» Я ему дал; он напился пьян и в тот же день такую отколол «рыбку», что девки и бабы даже взвизгивали – до того он кочевряжился!

На другой день я уехал домой, а месяца через три – уже в Петербурге – я узнал, что Иван сдержал-таки свое слово! Выслали его к новому барину; позвал его барин в кабинет и объявил ему, что будет он у него состоять кучером, что поручается ему тройка вяток и что строго с него взыщется, если будет худо за ними ходить и вообще не будет исправен. «Я-де шутить не люблю». Иван выслушал барина, сперва в ноги ему поклонился, – а потом объявил, что, как его милости угодно, а не может он быть ему слугою. «Отпустите, мол, меня на оброк, ваше благородие, али в солдаты определите; а то долго ли до беды?»

Барин вспылал.

– Ах ты, такой-сякой! Что ты это мне сказать посмел? Во-первых, знай, что я превосходительство, а не высокоблагородие; во-вторых, ты уж из лет вышел и рост у тебя не такой, чтобы тебя в солдаты отдать; а наконец – какую это ты мне бедой грозишь? Поджечь, что ли, меня собираешься?

– Нет, ваше превосходительство, не поджечь.

– Так убить, что ли? Иван промолчал.

– Не слуга я вам, – промолвил он наконец.

– А вот я тебе покажу, – взревел барин, – мой ли ты слуга или нет! – И, жестоко наказав Ивана, все-таки повелел ему выдать на руки тройку вятков и определять его кучером на конный двор.

Иван, по-видимому, покорился; начал ездить кучером. Так как он на это дело был мастер, те вскоре полюбился барину – тем более, что вел себя Иван очень скромно и тихо, к лошади у него раздобрели; выхолил он их – такав огурчики стали – загляденье! Стал барин выезжать с ним чаще, чем с другими кучерами. Бывало, спросит: «А что, помнишь, Иван, как мы с тобой неладно встретились? Чай, дурь-то с тебя соскочила?» Но Иван на эти слова никогда ничего не отвечал. Вот однажды, под самое крещение, отправился барин с Иваном в город на его тройке с бубенцами, в, ковровых пошевнях. Стали лошади шагом подниматься в гору – а Иная слез с облучка и зашел за пошевни, словно что обронил. Мороз стоял сильный: барин сидел, закутавшись, и бобровую шапку не уши надвинул. Тогда Иван достал из-под полы топор, подошел сзади к барину, сбил с неге шавку – да, промолви»: «Я тебя, Петр Петрович, остерегал – сам на себя теперь пеняй!» – раскроил ему голову одним ударом. Потом остановил лошадей, надел на мертвого барина сбитую шашку – и, снова взобравшись на облучая», привез его в тетрод прямо к присутственным местам.

– Вот, мол, вам сухинский генерал, убитый; и убил его я. Как я ему сказал – так я ему и сделал. Вяжите!

Ивана схватили, судили, присудили к кнуту, а поте» на каторгу. Попал в рудники веселый, птицеобразный плясун – да и исчез там навеки...

Да; поневоле – хоть и в ином смысле – повторишь с Алексеем Сергеичем:

– Хороша старина... ну, да и бог с ней!

II. Отчаянный

I

...Нас было человек восемь в комнате – и мы разговаривали о современных делах и людях.

– Не понимаю я этих господ! – заметил А., – они отчаянные какие-то! Право, отчаянные... Ничего подобного еще никогда не бывало.

– Нет, бывало, – вмешался П., уже старый, седоволосый человек, родившийся около двадцатых годов нынешнего столетия, – отчаянные люди водились и прежде; только не походили они на нынешних отчаянных. Про поэта Языкова кто-то сказал, что у него был восторг, ни на что не обращенный, беспредметный восторг; так и у тех людей – отчаянность была беспредметная. Да вот, если позволите, я вам расскажу историю моего двоюродного племянника, Миши Полтева. Она может служить образчиком тогдашней отчаянности.

Явился он на свет божий, помнится, в 1828 году, а родовом поместье своего отца, в одном из самых глухих уголков глухой, степной губернии. Мишина отца, Андрея Николаевича Полтева, я еще хорошо помню. Это был настоящий

старозаветный помещик, богобоязненный, степенный человек, достаточно – по тому времени – образованный, немного, правду оказать, придурковатый, да и к тому же страдавший падучей болезнью... Это тоже старозаветная, дворянская болезнь... Впрочем, припадки у Андрея Николаевича бывали тихие, и разрешались они обыкновенно сном да унылостью. Сердца он был доброго, обращения приветливого, не без некоторой величавости: я себе всегда таким воображал царя Михаила Федоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекла в неукоснительном исполнении всех с давних времен установившихся обрядов, в строгом соответствии со всеми обычаями древнеправославного, святорусского быта. Он вставал и ложился, кушал и в баню ходил, веселился и гневался (то и другое, правда, редко), даже трубку курил, даже в карты играл (два больших новшества!) не так, как бы ему вздумалось, не на свой манер, а по завету и преданию отцов – истово и чинно. Сам он был высокого роста, осанист и мясист, голос имел тихий и несколько хрипловатый, как оно часто бывает у русских добродетельных людей; соблюдал опрятность в белье и одежде, носил белые галстухи и табачного цвета длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась: за поповича или купца никто бы его не принял! Всегда, при всех возможных случаях и встречах Андрей Николаевич несомненно знал, как надо поступать, что надо говорить и какие именно выражения употреблять; знал, когда должно лечиться и чем именно, каким приме-

там должно верить и какие можно оставлять без внимания... словом, знал всё, что следует делать... Ибо всё, мол, стариками предусмотрено и указано – своего только не придумывай... А главное: без бога – ни до порога! Должно сознаться: скука смертельная царила в его доме, в этих низких, теплых и темных комнатах, столь часто оглашаемых пением всеобщих и молебных, с почти не переводившимся запахом ладана и постных кушаний!

Женился Андрей Николаевич, уже не в первой молодости, на соседней бедной барышне, очень нервической и болезненной особе, бывшей институтке. Она недурно играла на фортепиано, говорила по-французски на институтский лад; охотно восторгалась и еще охотнее предавалась меланхолии и даже слезам... Словом – характера была беспокойного. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который, «конечно», ее не понимал; но она уважала... она сносила его; и будучи существом вполне честным и вполне холодным, ни разу даже не подумала о другом «предмете». К тому же ее постоянно поглощали заботы, во-первых, о своем собственном, действительно слабом здоровье; во-вторых, о здоровье мужа, припадки которого ей всегда внушали нечто вроде суеверного ужаса; а наконец, и о единственном своем сыне, Мише, которого она воспитывала сама с большим рвением. Андрей Николаевич не мешал жене заниматься Мишей – но с условием: ни под каким видом не выступать из однажды навсегда назначенных рамок,

в которых всё должно было вращаться у него в доме! Так, например: в святки и под Новый год, в Васильев вечер Мише позволялось наряжаться вместе с другими «хлопчиками», и не только позволялось, но даже ставилось в обязанность... Зато – сохрани бог в другое время! и т. д. и т. д.

II

Помню я этого Мишу лет тринадцати. Это был очень милый мальчик с розовыми щечками и мякенькими губками (да и весь он был мякенький да пухленький), с несколько выпуклыми влажными глазами, тщательно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый – настоящая девочка! Одно только в нем мне не нравилось: смеялся он редко; но когда смеялся – зубы его, крупные, белые и по-звериному заостренные, неприятно выставлялись – и самый смех звучал чем-то резким и даже диким, почти зверским, – а в глазах пробегали нехорошие искры. Мать всё хвалила его за то, что он такой послушный и вежливый – и с мальчиками-шалунами не любит знаться, а всё больше льнет к женскому обществу. «Матушкин сынок, неженка, – отзывался о нем отец, Андрей Николаевич, – но зато в храм божий ходит охотно... И это меня радует». Один только старик сосед, бывший исправник, сказал раз при мне о Мише: «Помилуйте, бунтовщик будет». И это слово меня, помнится, тогда очень удивило. Бывший исправник, правда, всюду видел бунтовщиков.

Точно таким примерным юношей оставался Миша до 18-летнего возраста, до самой смерти родителей, которых он лишился едва ли не в один и тот же день. Живя постоянно в Москве, я ничего не слышал о моем молодом родственнике. Правда, один приезжий из его губернии уверял меня, будто бы Миша продал за бесценок свое родовое имение; но это известие казалось мне слишком неправдоподобным! И вот вдруг, в одно осеннее утро, на двор моего дома влетает коляска, запряженная парой превосходных рысаков, с чудовищным кучером на козлах; а в коляске – облеченный в шинель военного покроя с двухаршинным бобровым воротником, с фуражкой набекрень *à la diable m'emporte* {а-ля чёрт меня побери (*франц.*)}, сидит... Миша! Увидав меня (я стоял у окна гостиной и с изумленьем глядел на влетевший экипаж), он захохотал своим резким хохотом и, лихо тряхнув обшлагом шинели, выпрыгнул из коляски и вбежал в дом.

– Миша! Михаил Андреевич! – начал было я... – Вы ли это?

– Говорите мне: «ты» и «Миша», – перебил он меня. – Я... это я, собственной персоной... явился в Москву... на людей посмотреть... и себя показать. Вот и к вам заехал. Каковы рысачки?.. А? – он опять захохотал.

Хотя лет семь прошло с тех пор, как я в последний раз видел Мишу, но узнал я его тотчас. Лицо у него осталось совсем молодым и по-прежнему миловидным, – даже ус не пробился; только под глазами на щеках появилась одутлова-

тость – и изо рта пахло вином.

– Да давно ли ты в Москве? – спросил я. – Я полагал, что ты там в деревне, хозяйничаешь...

– Э! Деревню-то я тотчас побоку! Как только родители, царство им небесное, скончались (Миша перекрестился истово, без малейшего кощунства) – я сейчас, нимало не медля... эйн, цвей, дрей! ха-ха! Дешево спустил, канальство! Такой подвернулся шельмец. Ну, да всё равно! По крайней мере поживу в свое удовольствие – и других потешу. Да что вы на меня так уставились? Неужто же в самом деле мне было тянуть да тянуть эту канитель?.. Голубчик, родной, нельзя ли чарочку?

Миша говорил ужасно скоро, торопливо и в то же время как бы спросонья.

– Миша, помилуй! – возопил я, – побойся ты бога! На кого ты похож, в каком ты виде? А еще чарочку? И продать такое хорошее имение за бесценнок...

– Бога я всегда боюсь и помню, – подхватил он. – Да ведь он добрый – бег-то... простит! И я тоже добрый... никого еще в жизни не обидел. И чарочка тоже добрая; *жс* обижать... тоже никого не обижает. А вид у меня самый настоящий... Дяденька, желаете, стрункой по половице преяду? Или попляшу немного?

– Ах, пожалуйста, избавь! Какой тут пляс? Ты лучше сядь.

– Сесть-те я сяду... Да что вы мне ничего не скажете о моих серых? Вы посмотрите, ведь львы! Пока я их нанимаю,

но куплю непременно... вместе с кучером. Своё лошади не в пример выгоднее. И деньги ведь были, да «пусти» их вчера в банчишко. Ничего, завтра наверстаем. Дяденька... а что же чарочку?

Я всё ещё не мог опомниться.

– Помилуй, Миша, сколько тебе лет? Не лошадьми, не карточной игрой тебе заниматься следует... а в университет поступить, или на службу.

Миша сперва опять захохотал, потом свистнул протяжно.

– Ну, дяденька, я вижу, вы теперь в меланхолическом настроении. Заверну в другой раз. А вы вот что: заезжайте-ка вечером в Сокольники. Там у меня палатка разбита. Цыгане поют... Фу ты! ну ты! держись только! А на палатке вымпел, а на вымпеле ба-альшими буквами написано: «Хор полтавских цыган». Змеем вымпел-то вьется, буквы золотые, всякому прочесть лестно. Угощение – кто только пожелает!.. Отказу нет. Пыль по всей Москве пошла... мое почтение!.. Что ж? Заедете? Уж-какая там у меня есть одна... аспид! Черна, как сапог, злюща, как собака, а глаза... уголья! Никогда невозможно знать: что она – поцелует или укусит? Заедете, дяденька?.. Ну, до свидания!

И, внезапно обняв и чмокнув меня в плечо, Миша выскочил на двор, в коляску, махнул над головой фуражкой, гикнул, – чудовищный кучер покосился на него через бороду, рысаки рванулись, и всё исчезло!

На другой день я, грешный человек, поехал-таки в Со-

кольниковики и действительно увидал палатку с вымпелом и надписью. Пóлы палатки были приподняты: шум, треск, визг неслись оттуда. Народ толпился кругом. На земле на разостланном ковре сидели цыгане, цыганки, пели, били в бубны, а посреди их, с гитарой в руках, в шелковой рубахе и бархатных шароварах, юлою вертелся Миша. «Господа! почтенные! милости просим! сейчас представление начнется! Даровое! – кричал он надтреснутым голосом. – Эй! шампанского! хлоп! в лоб! в потолок! Ах ты, шельма, Поль де Кок!» – К счастью, он не увядал меня, и я поспешил удалиться.

Не буду, господа, я распространяться о моем изумлении при виде такой перемены. И в самом деле, как мог этот смиренный и скромный мальчик превратиться вдруг в пьяного шалопаю?! Неужто же это всё с «ем таилось с детства и тотчас выступило наружу, как только соскочил с него гнет родительской власти? А что пыль пошла от него по Москве, как он выражался, – этом уже точно не было никакого сомнения. Видал я кутил на своем веку; но тут проявлялось нечто неистовое, какое-то бешенство самоистребления, какое-то отчаяние!

III

Месяца два продолжалась эта потеха... Ж вот стою я опять у окна в гостиной и посматриваю на двор... Вдруг – что за притча?! входит в ворота тихой поступью послуш-

ник... Шапонька гречником надвинута на лоб, волосики из-под ней расчесаны направо и налево... длинный подрясник, кожаный пояс... Неужели Миша? Он и есть!

Вышел я к нему на крыльцо...

– Это что за маскарад? – спрашиваю я.

– Не маскарад, дяденька, – отвечает мне Миша с глубоким вздохом. – А так как я всё мое имущество до последней копейки растранил – да и раскаяние мною овладело сильное, – то и решил я отправиться в Троицкую Сергиеву лавру грехи свои отмаливать. Ибо какой мне теперь приют остался?.. И вот пришел я к вам проститься, дяденька, как блудный сын...

Я посмотрел в упор на Мишу. Лицо всё такое же, розовое да свежее (впрочем, оно так и не изменилось у него до конца), и глаза влажные да ласковые с поволокой, и ручки беленькие... А вином отдаёт.

– Что ж? – промолвил я наконец, – дело хорошее – коли другого исхода нет. Но зачем же от тебя вином-то пахнет?

– Старая закваска, – ответил Миша и вдруг засмеялся – да тотчас спохватился и, поклонившись прямым и низким, монашеским поклоном, прибавил: – Не пожалуете ли что на путь-дороженьку? Ведь в монастырь иду я пешком...

– Когда?

– Сегодня... сейчас.

– К чему же так спешить?

– Дяденька! Мой девиз всегда был: скорей! скорей!

– А теперь какой у тебя девиз?

– И теперь тот же... Только – к *добру* скорей!

Так Миша и ушел, предоставив мне размышлять о превратностях судеб человеческих.

Но он скоро опять напомнил мне о своем существовании. Месяца два спустя после его посещения я получил от него письмо, первое из тех писем, которыми он впоследствии наделял меня. И заметьте странность: я редко видывал более опрятный и четкий почерк, чем у этого безалаберного человека. И слог его писем был очень правильный, слегка витиеватый. Неизменные просьбы о помощи всегда чередовались с обещаниями исправиться, честными словами и клятвами... Всё это казалось – а может, и было – искренним. Росчерк Миши под письмом постоянно сопровождался особенными закрутасами, черточками и точками – и много употреблял он восклицательных знаков. В том первом письме Миша извещал меня о новом «обороте своей фортуны». (Впоследствии он называл эти обороты – нырками... и нырял он часто.) Он отправлялся на Кавказ служить «грудью» царю и отечеству, в качестве юнкера! И хотя некая добродетельная тетка вошла в его бедственное положение и прислала ему незначительную сумму, – он, однако, все-таки просил и меня помочь ему экипироваться. Я исполнил его просьбу и в течение двух лет опять ничего не слышал о нем.

Признаться, я сильно сомневался в том, поехал ли он на Кавказ? Но оказалось, что он точно поехал туда, по протек-

ции поступил в Т...и полк юнкером и прослужил в нем эти два года. Целые легенды составились там о нем. Мне их сообщил один офицер его полка.

IV

Я узнал много такого, чего я и от него не ожидал. Меня, конечно, не удивило то, что военным человеком, служакой, он оказался плохим, даже просто негодным; но чего я не ожидал, так это того, что и храбрости в нем особенной не замечалось; что в сражениях он имел вид унылый и вялый, не то скучал, не то смущался. Всякая дисциплина его стесняла, внушала ему грусть; дерзок он был до сумасбродства, когда дело шло только о нем *лично*: не было такого безумного пари, от которого бы он отказался; но делать зло другим, убивать, драться он не мог – быть может, оттого, что сердце у него было доброе, а быть может, оттого, что «хлопчатобумажное» (как он выражался) воспитание его изнежило. Самого себя истреблять он был готов всячески и во всякое время... Но других – нет. «Чёрт его разберет, – толковали о нем товарищи, – дряблый он, тряпка – и отчаянный какой-то, просто оглашенный!» Случалось мне впоследствии спрашивать Мишу: какой это злой дух его толкает, заставляет пить запоем, рисковать жизнью и т. п.? У него всегда был один ответ: тоска!

– Да отчего – тоска?

– Как же, помилуйте! Придешь этаким образом в себя, почувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России... Ну – и кончено! Сейчас тоска – хоть пулю в лоб! Закутишь поневоле.

– Россию-то ты зачем сюда приплел?

– А то как же? Нельзя! Оттого я и боюсь размышлять.

– Всё это у тебя – и тоска эта – от бездействия.

– Да не умею я ничего делать, дяденька! родной! Вот взять да жизнь на карту поставить – паролі пэ, да щелк за воротник! Это я умею! Вы вот научите меня, что мне делать, жизнью из-за чего рискнуть! Я – сию минуту!..

– Да ты живи просто... Зачем рисковать?

– Не могу! Вы скажете: необдуманно я поступаю... Как же иначе?... Станешь думать – и, господи, что в голову ползет! Это немцы одни думают!..

Как тут было разговаривать с ним? Отчаянный – да и полно!

Из числа кавказских легенд, о которых я упомянул, расскажу вам две, три. Однажды, в обществе офицеров, стал Миша хвастаться выменянной шашкой: «Настоящий персидский клинок!» Офицеры выразили сомнение, точно ли клинок настоящий? Миша заспорил. «Да вот, – воскликнул он наконец, – говорят, насчет шашек первый знаток – Абдулка кривой. Поеду к нему и спрошу». Офицеры изумились. «Это какой Абдулка? Что в горах живет? Не мирной? Абдулхан?» – «Он самый и есть». – «Да он тебя за лазутчика

примет, в клоповник засадит – а не то этой самой шашкой голову тебе срежет. Да и как ты доберешься до него? Тебя сейчас сцапают». – «А я все-таки поеду к нему». – «Пари, что не поедешь!» – «Пари!» – И Миша тотчас оседлал лошадь и поехал к Абдулке. Три дня пропадал. Все были убеждены, что пришел оглашенному конец. Глядь! вернулся – пьянехонек и с шашкой, только не с той, которую повез, а с другою. Стали его расспрашивать. «Ничего, говорит, добрый Абдулка человек. Сперва точно кандалы велел мне на ноги набить и даже на кол посадить собирался. Только я объяснил ему, зачем приехал, и шашку показал. «И не задерживай ты меня, говорю: выкупа, говорю, за меня не жди; гроша у меня за душою нет – и родных не имеется». Удивился Абдулка; посмотрел на меня единым своим глазом. «Ну, говорит, делибаш ты, урус; должен я тебе верить?» – «Верь, говорю; я не лгу никогда». (И точно Миша никогда не лгал.) Опять посмотрел на меня Абдулка. «А пить вино умеешь?» – «Умею, говорю; сколько дашь, столько и выпью». Опять удивился Абдулка, аллаха помянул. И велел он тут своей – дочке, что ли, хорошенькая такая, только взгляд, как у чекалки, – при-тащить бурдюк. И начал я действовать. «А шашка твоя, говорит, фальшивая; вот возьми настоящую. И теперь мы с тобой кунаки». А пари вы, господа, проиграли; платите!»

Вторая легенда о Мише вот какого свойства:, он до страсти любил карты; но так как денег у него не водилось и карточные долги он не платил (хотя шулером никогда не был),

то играть с ним уже никто не садился. Вот однажды начал он приставать к одному товарищу-офицеру: сыграй да сыграй с ним! «Да ведь ты проиграешь – не отдашь». – «Деньгами точно не отдам – а левую руку себе прострелю, вот этим самым пистолетом!» – «Да какая мне от этого выгода будет?» – «Выгоды никакой – а все-таки любопытно». Разговор этот происходил после попойки, при свидетелях. Точно ли показалось офицеру любопытным Мишино предложение – только он согласился. Принесли карты, началась игра. Мише повезло: он выиграл сто рублей. И тут противник его ударил себя по лбу. «Какой же я олух! – воскликнул он, – на какую удочку попался! Кабы ты проиграл, стал бы ты себе простреливать руку – как же, держи карман!» – «А вот ты и соврал, – возразил Миша, – я и выиграл, да руку себе прострелю». Он схватил пистолет – и бац! прострелил себе руку. Пуля пролетела насквозь... а неделю спустя рана зажила совершенно.

В другой еще раз ехал Миша ночью с товарищами по дороге... И видят они, возле самой дороги зияет узкий овраг вроде расселины, темный-претемный, дна не видать. «Вот, – говорит один товарищ, – уж на что Мишка отчаянный, а в этот овраг не прыгнет». – «Нет, прыгну!» – «Нет, не прыгнешь, потому что в нем, пожалуй, саженей десять глубины и шею сломить можно». Знал приятель, за что его задеть: за самолюбие... Очень оно было у Миши велико. «А я все-таки прыгну! Хочешь пари? Десять рублей». – «Изволь!» И не успел товарищ выговорить это слово, как уже Миша с коня

долой – в овраг – и загремел по камням. Все так и замерли... Прочла добрая минута, и слышат они, словно из земной утробы, доносится Мишин голос, глухо таково: «Цел! в песок попал... А летел долго! Десять рублей за вами». – «Вылезай!» – закричали товарищи. «Да, вылезай! – отозвался Миша, – чёрта с два! вылезешь тут. Вам теперь за веревками да за фонарями ехать надо. А пока, чтобы не скучно было ждать, бросьте-ка мне фляжку...»

Так и пришлось Мише просидеть часов пять на дне оврага; и когда его вытащили, у него плечо оказалось вывихнутым. Но это несколько его не смутило. На другой же день костоправ из кузнецов вправил ему плечо, и он действовал им как ни в чем не бывало.

Вообще здоровье у него было удивительное, неслыханное. Я уже сказывал вам, что он до самой смерти сохранил почти детскую свежесть лица. Болезней он не ведал, несмотря на все излишества; крепость его организма ни разу не пошатнулась. Где бы другой непременно занемог опасно или даже умер бы, он только встряхивался, как утка на воде, и расцветал пуше прежнего. Раз, тоже на Кавказе... Правда, *эта* легенда довольно неправдоподобна, но по ней можно судить, на что считали Мишу способным... Итак, раз на Кавказе он в пьяном виде свалился в ручей нижней частью туловища – голова и руки остались на берегу, наружу. Дело было зимою, ударил сильный мороз, и когда его нашли на другое утро, ноги его и живот сквозили из-под крепкой ледяной коры, на-

мерзшей в течение ночи – и хоть бы насморк он схватил! В другой раз (это было уже в России, под Орлом, и тоже в жестокий мороз) попал он в загородный трактир, в компанию семи молодых семинаристов. Семинаристы эти праздновали свой выпускной экзамен, а Мишу пригласили, как милого человека, человека «со вздохом», как говорилось тогда. Выпито было чрезвычайно много, и когда наконец веселая ватага собралась к отъезду, Миша, мертвецки пьяный, находился уже в бесчувственном состоянии. У всех семи семинаристов были одни только троечные сани с высоким задком; куда было деть безответное тело? Тогда один из молодых людей, вдохновившись классическими воспоминаниями, предложил привязать Мишу за ноги к задку саней, как Гектора к колеснице Ахиллеса! Предложение было одобрено... и, подпрыгивая на ухабах, скользя боком на раскатах, с задранными кверху ногами, с вывалянной в снегу головою, проехал наш Миша на спине все двухверстное расстояние от трактира до города и хоть бы кашлянул потом, хоть бы поморщился! Таким дивным здоровьем наделила его природа!

V

С Кавказа он опять отъявился в Москву, в черкеске, с патронами на груди, с кинжалом на поясе, с высокой папахой на голове. С этим костюмом он уже до конца не расстался, хоть и не находился более на военной службе, из которой

его выключили за неявку к сроку. Он побывал у меня, занял немного денег... и тут-то начались его «нырки», начались его хождения по мытарствам, или, как он выражался, по семи Семионам; начались внезапные отлучки и возвращения, посыпались красиво написанные письма, адресованные ко всем возможным лицам, начиная с митрополита и кончая берейторами и повивальными бабками! Пошли визиты к знакомым и незнакомым! И вот что следует заметить: делая свои визиты, он не низкопоклонничал и не канючил, а, напротив, держался прилично и даже вид имел веселый и приятный, хотя заматерелый запах вина сопровождал его повсюду – и восточный костюм понемногу превращался в лохмотья. «Дадите, бог вас наградит, хоть я этого и не стою, – говорил он, светло улыбаясь и откровенно краснея, – не дадите, будете вполне правы, и сердиться я уже никак не стану. Прокормлюсь, бог даст! Ибо людей беднее меня и более достойных помощи – много, очень много!» Миша особенно успевал у женщин: он умел возбуждать их сожаление, и не думайте, чтобы он был или воображал себя Ловласом... О нет! в этом отношении он был очень скромн. Унаследовал ли он от родителей такую холодную кровь или, наконец, и тут сказывалось его нежелание делать кому-либо зло, – так как, по его понятиям, с женщиной знаться значит непременно женщину обидеть, – решить я не берусь; только он в своих поступках с прекрасным полом был весьма деликатен. Женщины это чувствовали и тем охотнее жалели его и помогали

ему, пока он, наконец, не отталкивал их своим загулом и запоем, той отчаянностью, о которой я уже говорил... другого слова я придумать не могу.

Зато в других отношениях он уже всякую деликатность утратил и понемногу спустился до последних унижений. Он раз до того дошел, что в Т...м дворянском собрании выставил на столе кружку с надписью: «Всякий, кому покажется лестным щелкнуть по носу столбового дворянина Полтева (подлинные документы при сем прилагаются), может удовлетворить свое желание, положивши рубль в сию кружку». И говорят, нашлись любители щелкать дворянина по носу! Правда, он одного из этих любителей, за то, что тот, положивши *один* рубль в кружку, дал ему *два* щелчка, сперва чуть не задушил, а потом заставил попросить извинения; правда и то, что часть вырученных таким образом денег он тут же роздал другим голышам... но всё же какое безобразие!

В течение своих странствований по семи Семионам он добрался также до своего родового гнезда, проданного им за бесценнок известному в то время аферисту и ростовщику. Аферист был дома и, узнав о прибытии прежнего владельца, превратившегося в бродягу, приказал не пускать его в дом, а в случае нужды даже турнуть его в шею. Миша объявил, что в дом, оскверненный присутствием мерзавца, он сам не пойдет; турнуть же себя никому не позволит, а отправится на церковный погост поклониться праху своих родителей. Он так и сделал. На погосте присоединился к нему старик дво-

ровый, бывший когда-то его дядькой. Аферист лишил старика месячины и прогнал его вон из усадьбы; тот с тех пор ютился в закутке у мужика. Миша такое недолгое время заведовал своим именем, что особенно хорошей памяти о себе оставить не успел; однако старый слуга все-таки не вытерпел и, узнав о прибытии своего барчука, тотчас побежал на погост, нашел Мишу сидевшим на земле между надгробными плитами, попросил у него, но старой памяти, ручку и даже прослезился, глядя на лохмотья, которыми облекались некогда выхоленные члены его воспитанника. Миша долго, молча, смотрел на старика. «Тимофей!» – сказал он наконец. Тимофей встрепенулся. «Чего изволите?» – «Есть у тебя лопата?» – «Достать можно... А на что вам лопата, сударь Михайло Андреич?» – «Хочу себе тут могилку вырыть, Тимофей, – да и лечь тут на веки вечные, между родителями. Ведь только одно местечко и осталось у меня на свете. Принеси лопату!» – «Слушаю», – сказал Тимофей; пошел и принес. И Миша тотчас начал рыть землю, а Тимофей стоял возле, подперши рукою подбородок и повторяя: «Только и осталось нам с тобою, барин!» А Миша рыл да рыл, от времени до времени спрашивая: «Ведь не стоит жить, Тимофей?» – «Не стоит, батюшка». Ямка уже становилась довольно глубокой. Люди увидали Мишину работу и побежали доложить о ней новому владельцу, аферисту. Аферист сперва разгневался, хотел за полицией послать: это, мол, кощунство! Но потом, вероятно, сообразив, что дело иметь с этим

сумасбродом все-таки неудобно, может выйти скандал, – отправился самолично на погост – и, подойдя к трудившемуся Мише, вежливо ему поклонился. Тот продолжал рыть, как бы не замечая своего преемника. «Михаил Андреич, – начал аферист, – позвольте узнать, что это вы тут делаете?» – «А вот видите – могилу себе рою». – «Это зачем же?» – «А затем, что жить больше не желаю». Аферист даже руками развел. «Не желаете жить?» Миша грозно взглянул на афериста: «Это вас удивляет? Разве не вы всему причиной?.. Не вы?.. Не ты?.. Не ты, Иуда, меня ограбил, воспользовавшись моим младенчеством? Не ты с мужиков шкуру дерешь? Не ты вот этого дряхлела хлеба насущного лишил? Не ты?.. О господи! везде одна несправедливость, да притеснение, да злодейство... Пропадай, значит, всё – и я туда же! Не хочу жить, не хочу в России более жить!» И лопата еще быстрее заходила в Мишины руки.

«Чёрт знает что это такое! – подумал аферист, – ведь за правду закопается». – «Михаил Андреевич, – начал он снова, – послушайте; я перед вами точно виноват; мне об вас не так доложили». Миша рыл. «Но к чему такое отчаяние?» Миша всё рыл – и землю бросал на ноги аферисту: «На, мол, тебе, землеед!» – «Право, это вы напрасно. Не угодно ли будет вам зайти ко мне – закусить да отдохнуть?» Миша приподнял голову. «Вот ты теперь как! А выпивка будет?» Аферист обрадовался. «Помилуйте... еще бы!» – «И Тимофея пригласишь?» – «Отчего же... и его». Миша задумал-

ся. «Только смотри... ведь ты меня по миру пустил... Одной бутылочкой не полагай отделаться!» – «Не беспокойтесь... будет всего вволю». Миша встал и бросил лопату... «Ну, Тимоша, – обратился он к старому дядьке, – уважим хозяина... Идем!» – «Слушаю», – отвечал старик.

И все трое отправились в дом.

Аферист знал, с кем имел дело. Спервоначала Миша, правда, взял с него слово, что он крестьянам «всякие льготы определит»; но уже час спустя тот же Миша, вместе с Тимофеем, оба пьяные, плясали галопад по самым тем комнатам, где, казалось, еще витала богобоязненная тень Андрея Николаевича; а еще час спустя беспробудно заснувший Миша (он был очень слаб на вино) – уложенный в телегу вместе с папай и кинжалом – отправился в город, за двадцать пять верст, – и оказался там под забором... Ну, а Тимофея, который всё еще стоял на ногах и только икал, конечно, «турнули»: барина не удалось, так хоть слугу.

VI

Опять прошло несколько времени, и я ничего не слышал о Мише... Бог его знает, где он пропадал. Вот однажды, сидя за самоваром на станции Т...го шоссе в ожидании лошадей, я вдруг услышал под раскрытым окном стационарной комнаты сиплый голос, произносивший по-французски: «Monsieur... monsieur... prenez pitié d'un pauvre gentilhomme

guinê...» {«Сударь... сударь... сжальтесь над бедным, разорившимся дворянином...» (*франц.*).} Я поднял голову, взглянул... Облезлая папаха, поломанные патроны на разорванной черкеске, кинжал в потресканных ножнах, опухшее, но всё еще розовое лицо, растрепанные, но всё еще густые волосы... Боже мой! Миша! Он уже начал просить милостыню по большим дорогам! Я невольно вскрикнул. Он узнал меня, дрогнул, отвернулся и хотел было отойти от окна. Я остановил его... но что было ему сказать? Не нравоучение же читать?! Молча протянул я ему пятирублевую ассигнацию, – он так же молча схватил ее своей всё еще белой и пухлой, хоть и дрожавшей и неопрятной ручкой, – и исчез за углом дома. Мне не скоро подали лошадей – и я успел предаться невеселым размышлениям по поводу неожиданной встречи с Мишей; совестно мне стало, что я его так безучастно отпустил. Наконец я отправился дальше и, отъехав с полверсты от станции, заметил впереди на дороге толпу людей, подвигавшуюся странной, словно размеренной поступью. Я нагнал эту толпу – и что же я увидел? Человек двенадцать нищих, с сумами через плечо, шли по два в ряд, подпевая и подскакивая, а впереди их отплясывал Миша, топая в лад ногами и приговаривая: «Нáчики-чикалды, чух-чух-чух! Нáчики-чикалды, чух-чух-чух!» Как только моя коляска поравнялась с ним и он увидал меня, – он тотчас закричал: «Ура! Стой-равняйся! во фрунт, гвардия придорожная!» Нищие подхватили его крик и остановились – а он, с обычным своим хохо-

том, вскочил на подножку коляски и опять гаркнул: «Ура!» – «Это что же такое?» – спросил я с невольным изумлением. «Это? – Это моя команда, армия моя – все нищенки, божьи люди, друзья-приятели! Каждый из них, по вашей милости, чарочку пропустил – и вот теперь мы все радуемся и веселимся!.. Дяденька! Ведь только с нищими, с божьими людьми, и можно жить на свете... ей-богу!» Я ничего ему не ответил... но он мне в этот раз показался таким добряком, лицо его выражало такое детское простодушие... Меня вдруг что-то как будто и озарило, и в сердце кольнуло... «Садись ко мне в коляску», – сказал я ему. Он изумился... «Как? в коляску?» – «Садись, садись, – повторил я, – я хочу сделать тебе предложение. Садись!.. Поедем со мной». – «Ну, как прикажете». Он сел. «Ну, а вы, друзья любезные, товарищи почтенные, – прибавил он, обращаясь к нищим, – прощайте! до свиданья!» – Миша снял папаху и поклонился низко. Нищие все словно опешили... Я велел кучеру погнать лошадей, и коляска покатила. Вот что я хотел предложить Мише: мне вдруг пришла мысль взять его ко мне, в деревенский мой дом, отстоявший верст тридцать от той станции, – спасти его, или по крайней мере попытаться спасти его. «Слушай, Миша, – сказал я, – хочешь ты поселиться у меня?.. Будешь ты жить на всем готовом, платье тебе сошьют, белье, экипируют тебя как следует, и деньги тебе будут выдаваться на табак и на прочее, под одним только условием: не пить вина!.. Согласен ты?» Миша даже испугался

от радости; вытаращил глаза, побагровел и вдруг, припав к моему плечу, начал целовать меня и повторять прерывистым голосом: «Дяденька... благодетель... дай вам бог!..» Он расплакался наконец и, сняв папаху, принялся утирать ею глаза, нос и губы. «Смотри же, – заметил я ему, – помни условие: вина не пить!» – «Да будь оно проклято! – воскликнул он, взмахнув обеими руками – и, вследствие этого порывистого движенья, еще сильнее обдал меня тем спиртным запахом, которым он весь был пропитан... – Ведь, дяденька, если б вы знали жизнь мою... Ведь если бы не горе, не судьба жестокая... Зато теперь, клянусь, клянусь, я исправлюсь, я докажу... Дяденька, я никогда не лгал – спросите хоть кого... Я честный, но я несчастный человек, дяденька; ласки ни от кого не видел...» Тут он окончательно разрыдался. Я постарался его успокоить и успел в том, потому что когда мы подъехали к моему дому, Миша уже давно спал мертвым сном, уронив голову ко мне на колени.

VII

Ему тотчас определили особую комнату и тотчас же, первым делом, свели в баню, что было совершенно необходимо. Вся его одежду – и кинжал, и папаху, и дырявые сапоги бережно сложили в чулан, надели на него чистое белье, туфли и кой-какое мое платье, которое, как это всегда бывает с бедняками, как раз пришлось по его сложению и росту.

Когда он пришел к столу, вымытый, опрятный, свежий, — он казался до того умиленным и счастливым, он весь сиял такою радостной благодарностью, что и я почувствовал умиление и радость... Его лицо совсем преобразилось... У двенадцатилетних мальчиков бывают такие лица в светлое воскресенье, после причастья, когда они, густо напомаженные, в новых курточках и накрахмаленных воротничках, идут христосоваться с своими родителями. Миша то и дело осторожно и недоверчиво ощупывал себя и всё повторял: «Что это?.. Не на небесах ли я?» А на другой день объявил, что спать всю ночь не мог от восхищения! У меня в доме жила тогда старушка тетка с своей племянницей; обе они чрезвычайно смутились, когда узнали о прибытии Миши; они не понимали, как я мог пригласить его к себе в дом! Очень уже худая шла о нем слава. Но, во-первых, я знал, что он всегда был очень вежлив с дамами; а во-вторых, я надеялся на его обещание исправиться. И действительно: в первые два дня своего пребывания под моим кровом Миша не только оправдал мои ожидания, но превзошел их, а дам моих он просто очаровал. Со старушкой он играл в пикет, помогал ей разматывать гарус, показал ей два новых пасьянса; племяннице, у которой был небольшой голосок, он аккомпанировал на фортепьяно, читал ей русские, французские стихи; рассказывал обеим дамам веселые, но приличные анекдоты; словом, услуживал им всячески, так что они неоднократно выражали мне свое удивление, а старушка даже заметила, что

вот как люди бывают иногда несправедливы... Чего-чего о нем не говорили... а он такой смирный да вежливый... бедный Миша! Правда, за столом «бедный Миша» как-то особенно торопливо облизывался всякий раз, как только взглядывал на бутылку. Но стоило мне погрозить пальцем, и он поднимал глаза кверху и прижимал руку к сердцу... «Я, мол, клялся!.. Я теперь переродился!» – уверял он меня. «Что ж, дай бог!» – думалось мне... Однако это перерождение продолжалось недолго.

Первые два дня он был очень разговорчив и весел. Но уже начиная с третьего дня он как-то затих, хотя по-прежнему держался возле дам и занимал их. Не то грустное, не то задумчивое выражение стало пробегать по его лицу, да и самое лицо побледнело и будто похужело. «Тебе нездоровится?» – спросил я его. «Да, – ответил он, – голова немного болит». На четвертый день он уже совсем умолк; всё больше сидел в уголку, сиротливо склонив голову и своим унылым видом возбуждая чувство жалости в обеих дамах, которые теперь в свою очередь старались занимать его. За столом он ничего не ел; глядел в тарелку и катал шарики. На пятый день чувство жалости в дамах стало сменяться другим: недоверчивостью и даже страхом. Миша одичал, сторонился от людей и всё ходил вдоль стен, как бы крадучись и внезапно озираясь, точно кто его звал. И куда девался розовый цвет его лица? Оно словно землю перекрылось. «Тебе всё нездоровится?» – спросил я его. «Нет, я здоров», – ответил он отры-

висто. «Скучно тебе?» – «С чего скучать!» А сам отворачивается и в глаза не глядит. «Иль опять затосковал?» На это он ничего не ответил. Так прошли еще сутки. На следующий день тетка прибежала ко мне в кабинет в большом волнении и объявила, что выедет с племянницей из моего дома, если Миша должен в нем остаться. «Отчего так?» – «Да уж очень нам жутко с нем. Не человек, волк, как есть волк. Ходит, ходит, молчит – да смотрит так дико... Только что зубами не ляскает. Катя, ты знаешь, у меня такая нервическая... Она же в первый день очень им заинтересовалась... Мне за нее страшно, да и за себя...» Я не знал, что отвечать тетке... Не мог я, однако, выгнать Мишу, которого я же пригласил.

Он сам вывел меня из затруднительного положения.

В тот же день, – я еще не выходил из кабинета, – вдруг слышу за собою глухой и злобный голос: «Николай Николаич, а Николай Николаич!» Я оглянулся: у двери стоит Миша, с страшным, потемневшим, искаженным лицом. «Николай Николаич!..» – повторил он (уже не «дяденька»). «Чего тебе?» – «Отпустите меня... сейчас!» – «Что?» – «Отпустите меня, а то я бед наделаю, дом подожгу или кого зарезу. – Миша вдруг затрясся. – Велите мне мою одёжу возвратить, да телегу дайте до шоссе довести, и денег какую ни на есть малость дайте!» – «Да разве ты чем недоволен?» – начал было я. «Не могу я так жить! – закричал он во всю голову. – Не могу я жить в вашем барском треклятом доме! Мне гадко, иве совестно так спокойно жить!.. Как это только *вы* вы-

носителе!» – «То есть, – перебил я в свою очередь, – ты хочешь сказать – без вина жить ты не можешь...» – «Ну да! ну да! – закричал он опять, – только отпустите вы меня к моим братьям, к моим друзьям, к нищим!.. Прочь от вашей дворянской, приличной, противной породы!» Я хотел было напомнить ему об его клятвенных обещаниях... но исступленное выражение Мишина лица, его сорвавшийся голос, судорожный трепет всех его членов – всё это было так ужасно, что я поспешил отделаться от него; объявил ему, что ему сейчас выдадут его платье, заложат ему телегу, и, вынув из ящика двадцатипятирублевую бумажку, положил ее на стол. Миша начинал, уже с угрозой наступать на меня – но тут вдруг уперся, лицо его мгновенно перекошилось, вспыхнуло, он ударил себя в грудь, слезы брызнули из глаз и, пробормотав: «Дяденька! ангел! ведь я погибший человек – спасибо! спасибо!» – он схватил ассигнацию и выбежал вон.

Час спустя он уже сидел в телеге, снова одетый черкесом, снова розовый и веселый, и когда лошади тронулись с места, он гикнул, сорвал папаху с головы и, размахивая ею над головою, отвешивал поклон за поклоном. Перед самым отъездом он долго и крепко обнимал меня и лепетал: «Благодетель, благодетель... спасти меня нельзя!» Он даже к дамам сбегал и ручки у них перецеловал, на колени становился, взывал к богу и прощенья просил! Катю я потом застал в слезах.

А кучер, с которым отправился Миша, вернувшись, доложил мне, что довез его до первого кабака на шоссе – и что

там «они и застряли», стали угощать всех без разбору и скоро пришли в бесчувствие.

С тех пор я уже не встречался с Мишей, но окончательную судьбу его я узнал следующим образом.

VIII

Года три спустя я опять находился у себя в деревне; вдруг входит человек и докладывает, что меня спрашивает госпожа Полтева. Я никакой госпожи Полтевой не знал, да и человек, докладывавший мне, почему-то саркастически улыбался. На вопросительный мой взгляд он отвечал, что барыня меня спрашивает молодая, бедно одетая, и что приехала она в крестьянской телеге в одну лошадь и сама правила! Я велел попросить госпожу Полтеву пожаловать ко мне в кабинет.

Я увидел женщину лет двадцати пяти, в одежде мещанки, с большим платком на голове. Лицо простое, кругловатое, не лишенное приятности; взгляд понурый и немного печальный, движения застенчивые.

– Вы госпожа Полтева? – спросил я – и попросил ее сесть.

– Точно так-с, – отвечала она тихим голосом и не садясь. –

Я вдова вашего племянника Михаила Андреевича Полтева.

– Михаил Андреевич скончался? Давно ли? Да сядьте, прошу вас.

Она опустилась на стул.

– Второй месяц пошел.

– И давно вы за него замуж вышли?

– Я с ним всего год пожила.

– Вы теперь откуда?

– Я из-под Тулы... Село там есть Знаменское-Глушково – может быть, изволите знать. Я тамошнего дьячка дочь. Мы с Михаилом Андреичем там и жили... Он у моего батюшки поселился. Всего год мы с ним пожили.

У молодой женщины слегка задергались губы – и она поднесла к ним руку. Казалось, она собиралась заплакать... однако одолела себя, откашлянулась.

– Мне Михаил Андреевич покойный, – продолжала она, – перед смертью наказал к вам съездить; беспрерывно, говорит, съезди! И сказал он мне, чтобы я поблагодарила вас за всю вашу доброту и чтобы передала вам... вот эту... эту самую вещицу (она достала из кармана небольшой сверток), которую он всегда при себе имел... И Михаил Андреевич сказал – если вам угодно будет принять это на память, – так чтобы вы не побрезговали... Другим, говорит, я ничем отдарить их... то есть вас... не могу...

В сверточке находилась небольшая серебряная чашечка с вензелем Мишиной матери. Эту чашечку я часто видал в Мишиных руках – и раз он даже сказал мне, говоря про одного бедняка, что, стало быть, он гол, коли у него ни чашечки, ни плошечки, – а у меня вот хоть эта есть.

Я поблагодарил, взял чашечку и спросил: какой болезнью умер Миша? – Вероятно...

Тут я прикусил язык... но молодая женщина поняла мою недомолвку... Она быстро взглянула на меня, потом потупилась, печально улыбнулась и тотчас же промолвила:

– Ах нет! это уж он совсем бросил, с тех пор как со мной спознался... Только здоровье его было какое?!. Потерянное совсем. Как бросил пить, так сейчас болезнь его и обнаружилась. Такой он стал степенный; всё отцу подсоблять хотел, по хозяйству, аль в огороде... или какая другая случалась работа... даром, что дворянского был роду. Только где сил взять?.. Тоже по письменной части хотел было заняться – часть эту, вам известно, он знал прекрасно; но руки у него тряслись – и перо держать он не мог как следует... Всё себя упрекал: белоручка, мол, я, никому добра не делал, не помогал, не трудился! Убивался он очень об этом о самом... Говорил, что народ, мол, наш трудится – а мы что?.. Ах, Николай Николаич, хороший он был человек – и меня любил... и я... Ах, извините...

Тут молодая женщина впрямь заплакала. Хотелось бы мне ее утешить – да не знал я, как.

– Остался ли у вас ребеночек? – спросил я наконец.

Она вздохнула.

– Нет, не остался... Да где уж тут! – И слезы полилась еще сильнее.

– Так вот чем разрешились Мишины скитанья по мытарствам, – завершил старик П. свой рассказ. – Вы, господа, конечно, согласитесь со мною, что я имел право назвать его

отчаянным; но, вероятно, согласитесь также и в том, что он не походил на нынешних отчаянных, хотя, полагать надо, иной философ и нашел бы родственные черты между ним и ими. И там и тут жажда самоистребления, тоска, неудовлетворенность... А с чего это всё берется, предоставляю судить – именно философу.